



*Д. Е. Алимов, А. С. Кибинь*

***Urbańczyk Przemysław. Trudne początki Polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o., 2008. 420 s. ISBN 978-83-229-2916-2***

«Трудные начала Польши» — такое название польский историк и археолог Пшемислав Урбанчик, известный читателям как исследователь раннесредневековой истории Центральной Европы и Скандинавии<sup>1</sup>, дал своей новой книге, увидевшей свет в издательстве Wrocławского университета в 2008 г. Казалось бы, такое название призвано акцентировать внимание на трудностях процесса становления Польского государства. Однако, содержа в себе явную аллюзию к эпохальному многотомнику Хенрика Ловмянского «Начала Польши»<sup>2</sup>, название книги П. Урбанчика имеет и другой, полемический, подтекст, значение которого вполне раскрывается по мере знакомства с содержанием книги. «Начала» Польши именуются автором трудными

<sup>1</sup> Среди множества работ П. Урбанчика, посвященных различным вопросам археологии и истории раннего Средневековья, отметим несколько важных монографических исследований: *Urbańczyk P.* 1) *Medieval Arctic Norway*. Warszawa, 1992; 2) *Władza i polityka we wczesnym średniowieczu*. Wrocław, 2000; 3) *Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna*. Warszawa, 2001; 4) *Zdobywcy północnego Atlantyku*. Wrocław, 2004; 5) *Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter. Ein historisch-anthropologischer Essay über gesellschaftlichen Wandel und Integration in Mitteleuropa*. Frankfurt am Main, 2007.

<sup>2</sup> *Lowmiański H.* *Początki Polski. Z dziejów słowian w I tysiącleciu n. e.* T. I–VI. Warszawa, 1963–1985.

потому, что существуют весьма значительные проблемы методологии их исследования, а также потому, что реальная картина польского политогенеза, как полагает автор, гораздо сложнее и неоднозначнее элегантно в своей простоте схем, по сей день доминирующих в историографии.

Именно на методологических проблемах и сконцентрировал свое внимание автор «Трудных начал Польши», задавшись целью критически рассмотреть бытующие в научной литературе представления о самой ранней эпохе польской истории. Результаты такой критики не могут не впечатлить: автор подверг ревизии почти все, что составляет основу наших знаний о предыстории и становлении державы Пястов. Из книги П. Урбаньчика читатель узнает, например, о том, что племени полян, создавшего, согласно укоренившимся представлениям, древнейший очаг польской государственности, в действительности никогда не существовало, как не существовало и их могущественных соседей — вислян, имевших, согласно общепринятому взгляду, свое собственное княжество на территории Малой Польши. Более того, если верить автору, само средневековое название Польши, *Polonia*, не отражая никакой внутripольской племенной традиции, в качестве обозначения государства Пястов являлось, в сущности, иностранным нововведением, укоренившимся при дворе Болеслава Храброго благодаря влиянию Священной Римской империи. Едва ли меньшей неожиданностью для читателя станет отрицание П. Урбаньчиком наличия в раннесредневековом Польском государстве единой столицы, будь то Гнезно или Познань, или скепсис, проявляемый им в отношении существования в X в. политического контроля над Силезией как со стороны Пржемысловичей, так и со стороны Пястов... Не претендуя в настоящей рецензии на оценку степени аргументированности всех новаторских тезисов П. Урбаньчика, позволим себе, прежде всего, остановиться на том, что позволило польскому ученому осуществить столь радикальный пересмотр взглядов, еще недавно казавшихся общепринятыми.

Важнейшее место в этом пересмотре, несомненно, занимает методология, а точнее то, что сам автор называет «углубленной методологической рефлексией» (S. 11). Именно углубленная рефлексия, а отнюдь не сенсационные результаты археологических раскопок или радикально новое прочтение информации письменных источников, и определила в большинстве случаев авторскую позицию по целому ряду краеугольных вопросов польского раннего Средневековья. В этом смысле книга П. Урбаньчика, возможно, несколько разочарует тех, кто ожидает найти в ней своего рода фактографическую книгу-справочник по становлению польской государственности или всеобъемлющее синтетическое исследование в стиле грандиозной книги Х. Ловмянского, но, несомненно, порадует всех тех, кто неравнодушен к методологическим поискам современной медиевистики.

Важнейшей методологической новацией, позволившей П. Урбаньчику на протяжении всей своей книги убедительно оспаривать не только отдельные элементы существовавшей в предшествующей историографии картины польского раннего Средневековья, но и, по сути, поставить под вопрос всю эту картину целиком, является последовательное вовлечение в анализ процесса польского политогенеза новейших разработок социальной (культурной) и политической антропологии. О важности для историка антропологических данных и антропологической теории

П. Урбаньчик пишет в своей работе неоднократно, однако, полнее всего позиция автора по данному вопросу раскрывается во Введении и последующих двух начальных главах книги, всецело посвященных методологии исследования ранне-средневековых обществ.

Констатируя во Введении (S. 7–15) существование проблем во взаимопонимании между историками и археологами и защищая в связи с этим саму позицию археолога-теоретика, занимаемую им в книге, П. Урбаньчик в следующей за вводной частью главе под названием «Вместе или порознь?» (S. 16–24) дает предельно ясный ответ на вопрос, что именно способно обеспечить столь желательное сотрудничество между представителями разных областей знания и единство, необходимое для осуществления эвристического прорыва. Этим необходимым элементом, по его мнению, является культурная антропология, так как

«...именно знание структуры и механизмов функционирования культурных систем позволит превратить науки о вещах (археологических источниках), о словах (письменных источниках) и о формах (изобразительных источниках) в науку о людях, развитие которой должно являться главной целью гуманитарных исследований» (S. 21).

С этим тезисом польского исследователя едва ли можно спорить. Более того, кому-то он может показаться довольно банальным. Однако при этом нельзя не заметить, что несмотря на бурное развитие в последние десятилетия культурной и политической антропологии, результаты антропологических исследований при изучении раннесредневековых обществ Европы используются историками либо крайне недостаточно, либо игнорируются вовсе. В своей книге П. Урбаньчик касается причин этого прискорбного явления, видя едва ли не важнейшую из них в несовершенстве университетских курсов, зачастую сводящих антропологическую подготовку начинающих историков и археологов к описательной этнографии, фрагментарно знакомящей студентов с элементами духовной и материальной культуры разных народов мира без глубокого теоретического обобщения.

Что ж, проблема несовершенства антропологического образования, несомненно, существует: о ней не так давно писали и у нас<sup>3</sup>. Однако далеко не только изъяны вузовской подготовки виновны в отсутствии среди историков должного внимания к такой динамичной области современного гуманитарного знания как (культурная) антропология. В связи с этим, подробно обсуждая в следующей главе, носящей название «Начало раннесредневековых государств как междисциплинарная проблема» (S. 25–36), необходимость использования в исторических исследованиях антропологической теории вождеств, П. Урбаньчик справедливо обращает внимание на вполне сознательное нежелание некоторых исследователей, как историков, так и археологов, обращаться в своих исследованиях к антропологической теории, причиной чего является иногда открыто выражаемый ими скепсис в применимости к раннесредневековой Европе результатов исследований «примитивных» обществ XIX–XX вв.

Несогласие П. Урбаньчика с такой позицией лично нам представляется вполне оправданным, ведь упомянутый исследовательский скептицизм, пусть и мотивированный, по крайней мере, внешне, соображениями научной осторожности,

<sup>3</sup> См. дискуссию, специально посвященную проблемам антропологического образования в вузах: Антропологический форум. СПб., 2005. № 3 (Образование в антропологии и социальных науках). С. 7–145.

основывается скорее на обыденном восприятии реальности, нежели на результатах научной критики. По справедливому замечанию П. Урбаньчика, не желая использовать в своих работах важнейшие элементы современной антропологической теории, историки и археологи, когда речь заходит о необходимости осмысления полученных ими данных на теоретическом уровне, апеллируют к явно устаревшим эволюционным схемам или вовсе руководствуются в своих рассуждениях пресловутым «здравым смыслом». В продолжение мысли П. Урбаньчика хочется заметить, что, по-видимому, именно превратно понимаемый «здравый смысл», а отнюдь не результаты эмпирических исследований, повинен в том, что часто осуществляющееся в историографии сопоставление относительно близко отстоящих друг от друга во времени и пространстве или «родственных» друг другу общностей считается обычно вполне легитимным, в то время как сопоставление обществ, относящихся к разным эпохам, языковым семьям и континентам, встречается с явным недоверием, притом что сами критерии «родственности» или «социокультурной близости», зависящие подчас от субъективного восприятия конкретных исследователей, остаются совершенно неопределенными.

Считая необходимым выработку новой модели политогенеза для обществ центрально-европейского региона, которая бы опиралась на достижения культурной антропологии и соответствовала современному уровню знаний, польский исследователь посвящает этой теме специальную главу под названием «Ранние государства Центрально-Восточной и Северной Европы» (S. 37–68). В ней П. Урбаньчик сначала подробно останавливается на методологических опасностях, встающих на пути исследователя раннесредневекового политогенеза. Так, в корне неверной представляется автору эволюционистская трактовка становления раннесредневековой государственности, рассматривающая появление государства как естественный и закономерный процесс развития общества. Именно по этой причине, из-за своего явного эволюционизма, исследователем отвергается весьма влиятельная в свое время концепция становления славянских государств, разработанная Х. Ловмянским, хотя П. Урбаньчик и отмечает компромиссный характер данной модели, пытающейся примирить роль в процессе государствообразования объективных закономерностей общественного развития и субъективных факторов, связанных с деятельностью политических элит.

Отмечая необходимость существования определенных условий, для того чтобы государство могло появиться, таких, как наличие достаточного количества прибавочного продукта, делающего возможным иерархическую организацию общества и стабилизацию политической элиты, П. Урбаньчик, тем не менее, отводит решающую роль субъективному фактору:

«Поскольку, однако, достижение определенного этапа социально-экономического развития было лишь необходимым, но не достаточным, условием, постольку решающими были конкретные действия конкретных людей, мотивированных стремлением укрепить и усилить свою доминирующую позицию в обществе. Это они совершили социальный переворот, используя доступные организационные образцы. Это их интеллект, харизма, а также обыкновенное счастье и даже случай привели к тому, что именно они достигли успеха, мерилom которого является стабильность созданных ими государств» (S. 42).

Определив, таким образом, свое видение природы раннесредневековой государственности и факторов ее возникновения, П. Урбаньчик в этой же главе дает краткий обзор процессов политогенеза в странах Центральной, Восточной и Северной Европы начиная со времен выхода на историческую арену славян и заканчивая появлением стабильных раннесредневековых государств. По ходу дела автор делает немало ценных наблюдений, касающихся динамики политического развития в данном регионе в VI–XI вв. Так, особого внимания заслуживает, на наш взгляд, интерпретация исследователем взаимоотношений аваров и славян. Справедливо отмечая, что у Аварского каганата не было четко очерченной государственной территории, П. Урбаньчик склонен считать, что в зависимости от аваров находились не только те славяне, которые проживали по соседству с ядром каганата, но и те, кто населял весьма отдаленные от Паннонии и Потисья районы. При этом, по мнению исследователя, авары поддерживали у подвластных им славян эгалитарную модель социальной организации, не давая им возможности создавать собственные политические центры. В соответствии с этим П. Урбаньчик прямо связывает начало процессов государствообразования даже в удаленных от ядра каганата славянских землях с падением Аварской державы.

Исследователь отмечает немало общих черт в процессах складывания раннесредневековой государственности в Моравии, Чехии, Польше, Венгрии, на Руси и в Швеции, однако подчеркивает, что никаких правил или образца построения государства для рассмотренных им территорий выявить не удастся, а сам процесс возникновения новой политической организации осуществлялся методом проб и ошибок. Нельзя не заметить, что подобная интерпретация характера государствообразования в рассматриваемом регионе содержит в себе скрытую полемику не только с идеей «среднеевропейской модели государственности», сложившейся на базе Великой Моравии<sup>4</sup> (П. Урбаньчик прямо отмечает ее дискуссионность), но и с другими, нередко предпринимавшимися в историографии, попытками выделить особую модель ранней государственности для Восточно-Центральной Европы, определяя ее как «дружинное государство»<sup>5</sup>, либо связывая с марксистской концепцией «азиатского способа производства»<sup>6</sup>. Вывод, сделанный П. Урбаньчиком в результате анализа путей построения государства в Восточно-Центральной Европе, полностью согласуется со свойственным автору пониманием роли субъективного фактора в процессе государствообразования: как не без остроумия заявляет польский исследователь, раннесредневековые Чехия, Польша, Русь, Венгрия и Швеция отнюдь не воплощали в себе политических стремлений каких-либо «народов», а всецело являлись «частными предприятиями» своих удачливых создателей — Пржемысловичей, Пястов, Рюриковичей, Арпадов и Скъльдунгов (S. 68).

<sup>4</sup> См.: *Тржешитик Д.* Среднеевропейская модель государства периода раннего Средневековья // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987. С. 124–133.

<sup>5</sup> Обзор мнений см., например: *Шинаков А. Е.* Образование Древнерусского государства: Сравнительно-исторический аспект. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 42–45.

<sup>6</sup> См.: *Гавлик Л.* Вопросы типологии феодализма в Европе и Передней Азии и славянские народы // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 131–143. Подобные дискуссии велись и в венгерской историографии. Литературу см.: *Свак Д.* Место России в Евразии (в Средневековье и раннее Новое время) // *Он же.* Русская парадигма: Русофобские заметки русофила. СПб., 2010. С. 18, примеч. 1.

Следующая глава монографии П. Урбаньчика, носящая название «От племени до государства» (S. 69–106), принадлежит к числу наиболее новаторских, полемически заостренных, а потому, на наш взгляд, и наиболее интересных, разделов книги. Как известно, в последние годы исследователям раннего Средневековья стали очевидными эвристические возможности постмодернистской методологии. Это особенно проявилось в том, что можно назвать этнической историей, когда со всей очевидностью встал вопрос о природе этничности и преломлении этого феномена в средневековом социуме. Народы, названиями которых пестрят средневековые нарративы, в новейших исследованиях все чаще объявляются книжными конструктами, созданными по моделям античной этнографии или библейским образцам и, как следствие, имеющими довольно мало общего с реальной, исключительно сложной, многоуровневой и подчас ситуативно обусловленной идентичностью человека раннего Средневековья<sup>7</sup>.

Не стоит поэтому удивляться тому, что вдохновленные постмодернистской критикой письменных источников и/или богатейшим материалом по идентичностям «примитивных» обществ, собранным антропологами, историки все чаще обращают острие своей критики против устаревшей концепции племени. Позиция П. Урбаньчика по данному вопросу выглядит вполне логичной и последовательной: беря за основу выводы антропологов, давно признавших «племена» не более чем аналитическими моделями, с помощью которых этнографы пытались упорядочить собранную ими информацию, и подчеркивая субъективный и ситуативный характер того, что именуется этнической группой в современной антропологии, польский исследователь справедливо отказывается идентифицировать в качестве таких «племен» и те общности, которые засвидетельствованы в раннесредневековых письменных источниках. Сомнительной представляется исследователю методологическая посылка, согласно которой «раннесредневековые источники, какими бы неясными они ни были, объективно отражают стабильные этнотерриториальные деления земель, которые Мешко I подчинил своему контролю во второй половине X в.» (S. 76).

В связи с этим П. Урбаньчик подвергает критике свойственный польским медиэвистам в течение многих десятилетий метод обращения с информацией так называемого «Баварского географа», когда приводимая им

«серия групповых названий совершенно некритично признается достоверным описанием деления польских земель на отчетливые племена, понимаемые как территориальные единицы, жители которых различались и внутренне идентифицировались с помощью простых этнонимов...» (S. 77).

П. Урбаньчик прекрасно демонстрирует, на каких, в сущности, слабых основаниях покоится «племенная» карта допястовской Польши, с теми или иными модификациями воспроизводимая во многих исследованиях по ранней польской истории. Этнонимы, упомянутые в «Баварском географе», просто-напросто по созвучию идентифицировались исследователями с какими-либо географическими названиями

<sup>7</sup> См. об этом: *Дмитриев М. В.* Проблематика проекта «*Confessiones et nationes*: конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы» // *Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века — Новое время.* М., 2008. С. 23–31.



ми на карте Польши, позволяя им, таким образом, не только «реконструировать» славянское название упомянутого в источнике «племени», но и «локализовать» его. При этом исследователей не останавливало ни наличие в тексте «Баварского географа» крайне сомнительной информации, ни соседство в тексте памятника с будто бы достоверными этнонимами не поддающихся однозначной интерпретации непонятных и загадочных названий вроде *Fraganeo* и *Lupiglaa*. Более того, в тех случаях, когда на «племенной» карте Польши образовывались лакуны, заполнить которые «племенами» из соответствующей части «Баварского географа» не удавалось, названия «племен», также по созвучию, отбирались исследователями либо из другой части «Баварского географа», либо из иных источников, таких как известная грамота 1086 г., подтверждающая границы Пражского епископства.

П. Урбаньчик справедливо указывает на то, что полученная на основе подобной интерпретации письменных источников карта «племен» нередко вступала в решительное противоречие с картиной, реконструируемой на основе археологических материалов. Так, если под *civitates* «Баварского географа», действительно, следует понимать грады, то данные археологии совершенно не подтверждают сведений источника об их количестве в том или ином «племени». П. Урбаньчик особо подчеркивает несоответствие картины, полученной на основании археологических материалов, сведениям «Баварского географа» о числе градов в «племенах» Полабья, которое, казалось бы, должно было быть более известным составителям «Баварского географа», чем земли за Судетами. Это обстоятельство, по мнению исследователя, позволяет говорить о том, что либо составитель «Баварского географа» не знал о ситуации в близком Восточно-Франкскому королевству Полабье, либо то, что он подразумевал под *civitates*, существенно отличалось от того, что вкладывают в этот термин современные историки. Из этого П. Урбаньчик заключает, что при дворе Людовика Немецкого что-то слышали о каких-то народах, проживавших за Одрой и Судетами, но конкретной информацией не располагали. При этом исследователь высказывает догадку, что сам список «племен» с числом *civitates* мог быть продуктом деятельности франкских «спецслужб», получивших задание составить некий рапорт, но не смевших признать собственное невежество в том, что касается этнополитических реалий далекой варварской периферии. В итоге, по мнению польского исследователя, на основании информации «Баварского географа» можно констатировать лишь то, что

«уже в середине IX в. на землях южной и западной Польши были какие-то распознаваемые внешними наблюдателями деления популяций, населявших различные территории, но невозможно установить ни каким был характер объединявшей их надлокальной идентификации, ни насколько сильно были они территориализированными, ни насколько долго эти организмы существовали» (S. 80).

Вполне естественно, что, критикуя подход историков к информации письменных источников, когда упоминаемые в них групповые названия рассматривались в качестве обозначений так называемых «племен», П. Урбаньчик считает столь же неприемлемым использование концепции племени в работах археологов, нередко заполнявших карту Польши новыми, не зафиксированными в письменных источниках «племенами» лишь на основании обнаружения в соответствующих местностях материальных следов концентрации населения. Методологически сомнительной

представляется П. Урбаньчику и, казалось бы, вполне закономерная, если понимать под «племенем» не только этническую, но и политическую категорию (этнополитическую единицу), идентификация «племенных» структур на основании обнаружения градов. Будучи сторонником интерпретации древнейших градов в качестве символических или религиозных центров (об этом подробнее идет речь в следующей главе книги), польский исследователь приводит пример полабского «племени» лютичей, которые, по мнению немецкого ученого Лотаря Дралле, являли собой довольно рыхлую общность, идеологическим центром и, соответственно, фактором консолидации которой являлось святилище в Ретре. Отмечая важность религии для групповой самоидентификации язычников, П. Урбаньчик готов применить концепцию Л. Дралле и к населению польских земель, с каковой целью он концентрирует внимание на языческих культовых центрах на территории Польши. Однако осуществленный автором обзор археологических памятников подводит исследователя к неутешительному выводу о том, что ситуация с польскими языческими центрами и, соответственно, с идентификацией населения на их основе остается крайне неясной.

Советуя археологам в связи со всем этим оперировать предельно общим понятием «поселенческой группы» (*skupisko osadnicze*), П. Урбаньчик справедливо отмечает, что таким группам нельзя автоматически приписывать этничность. Более того, поселенческие группы, по мнению П. Урбаньчика, не могут служить и доказательством существования политической территориальной организации и их нельзя отождествлять с этнополитическими организмами. Закономерен, однако, вопрос: как же в таком случае хотя бы теоретически следует представлять себе структуру населения обширного пространства между горными хребтами и Балтийским морем в IX–X вв.? По мнению П. Урбаньчика, польские реалии в данном случае могут быть адекватно осмыслены с помощью антропологической теории вожеств. Исследователь делает при этом акцент на динамичности политической ситуации, характерной для периода вожеств, что не позволяет, по его мнению, обрисовать стабильные политические единицы. Вместе с тем, он же отмечает, что с появлением вожеств в материальной культуре начинает формироваться символический стиль, посредством которого маркировались политически конкурирующие группы<sup>8</sup>. Отмечая, что на польской территории манифестируемых таким образом линий демаркации выявить не удается, исследователь заключает:

«...отсутствие стилистической дифференциации археологических свидетельств популяций, занимавших соседние территории может (если не должно) указывать на отсутствие стабильных противоречий в реализации групповых интересов. Следовательно, либо структура власти была целиком рассеяна и каждый град представлял собой относительно независимый политический центр, либо взаимоотношения между ними изменялись слишком быстро, чтобы могло дойти до формирования отличительных черт материальной культуры. И в том, и в другом случае нельзя говорить о каких-либо прочных территориальных образованиях, которые можно было бы назвать “племенами”» (S. 100).

<sup>8</sup> Подробнее см.: *Curta F.* 1) *The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region*, с. 500–700. Cambridge, 2001. P. 31–34; 2) *Some remarks on ethnicity in medieval archaeology // Early Medieval Europe*. 2007. Vol. 15. Nr 2. P. 169–184.



Заметим, что, отрицая существование «племен» в польских землях, П. Урбаньчик осуществил в отношении территории между Судетами, Карпатами и Балтикой нечто подобное тому, что за двадцать лет до этого чешский медиевист Душан Тржештик осуществил в отношении Чешской котловины, не только отказавшись от самого использования термина «племя» применительно к раннесредневековым этнополитическим организациям (*gentes*), но и объявив недостоверной всю позднейшую традицию о чешских «племенах», за исключением одной-единственной этнополитической общности чехов (*gens Voemanořum*)<sup>9</sup>. Однако, в своем отрицании существования «племен» на территории будущего Польского государства П. Урбаньчик занимает, несомненно, гораздо более радикальную позицию. Если Д. Тржештик выступал в свое время, как это делают ныне и некоторые современные российские исследователи (А. Ю. Дворниченко<sup>10</sup>, А. А. Горский<sup>11</sup>), по сути лишь против использования применительно к славянским этнополитическим организациям самого термина «племя», отягощенного неприемлемым в отношении раннесредневековых гетерогенных квазиэтнических общностей эволюционистским смыслом и биологизаторством этничности, то П. Урбаньчик ставит под сомнение само наличие таких этнополитических организмов на территории будущего государства Пястов.

Следует отдать должное польскому автору: к своей, исключительно важной, мысли об отсутствии на территории Польши этнополитических организмов исследователь возвращается несколько раз, пытаясь подыскать для объяснения польской ситуации понятные читателю аналогии. Так, ссылаясь на работу видного польского этнолога А. Посерн-Зелиньского, использовавшего понятие «нерефлексируемой этничности», П. Урбаньчик склонен соответствующим образом охарактеризовать и жителей обширного пространства будущей державы Пястов: по мнению П. Урбаньчика, у культурно и лингвистически однородного населения этих краев отсутствовала рефлексия о собственной идентичности и, соответственно, не было потребности в манифестации различий посредством названий или предметов материальной культуры. Польский исследователь говорит о присущем таким, локально укорененным, обществам чувству «тутэйшести» (что заставляет российского читателя вспомнить хрестоматийный пример с крестьянским населением западных окраин Российской империи, обитавших в пределах современной Беларуси), а также апеллирует к культурно и лингвистически однородной Скандинавии. С точки зрения П. Урбаньчика, в Польше, подобно тому, как это было в ранних государствах Скандинавии, лишь экспансионизм начавшей консолидацию страны династии, позволивший создать стабильную политическую организацию, вызвал к жизни процессы формирования этничности посредством использования культурных элементов.

Конечно, невозможно не согласиться с П. Урбаньчиком, когда он критикует историков и археологов за продолжающееся до сего дня нанесение на карту Польши различных «племен», многие из которых упоминаются лишь в позднейших источниках

<sup>9</sup> *Třeštík D.* 1) *České kmeny. Historie a skutečnost jedné koncepce* // *Studia Mediaevalia Pragensia*. Praha, 1988. Vol. I. S. 129–143; 2) *Křest českých knížat roku 845 a christianizace Slovanů* // *ČČN*. 1994. Ročník 92. S. 424, poz. 3.

<sup>10</sup> *Дворниченко А. Ю.* О восточнославянском политогенезе в VI–X вв. // *Rossica Antiqua: Исследования и материалы*. 2006. С. 184–195.

<sup>11</sup> *Горский А. А.* Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. С. 10–14.

(поляне, поморяне, мазовшане) или вовсе выдумываются исследователями (обжане). Однако, как нам представляется, польский исследователь слегка перегнул палку, когда вместе с давно обосновавшимися в книгах по польской истории полянами он готов изгнать из них абсолютно все «племена», включая даже вислян, «племя», истории которого, как уместно напоминает в связи с этим сам П. Урбаньчик, 60 лет назад Юзеф Видаевич посвятил целую монографию<sup>12</sup>.

В первую очередь, необходимо заметить, что формирование идентичности на базе принадлежности к политическому организму такого уровня, как вождество, принадлежит к числу распространенных путей самоидентификации групп<sup>13</sup>. И хотя в последнее время некоторые из фигурирующих в источниках славянских общностей, обычно именовавшихся в историографии «племенами», объявляются исследователями книжными конструктами или образами ментальной географии, не подлежит сомнению то, что, по крайней мере, некоторые из славянских «племен», например, упоминаемые в первой части «Баварского географа» *Nortabtrezi* (ободриты), *Vuilzi* (вильцы), *Surbi* (сербы), *Talaminzi* (далеминцы), *Betheimare* (чехи), *Marharii* (мораване) и др.<sup>14</sup>, подобно германским *gentes*, вполне могут быть отнесены к разряду этнополитических организмов (при этом, вероятно, с иными, нежели в германских общностях эпохи переселения народов, механизмами возникновения и поддержания групповой кохезии, основанными не столько на этническом творчестве воинских элит, сколько — и в этом смысле П. Урбаньчик, кажется, прав — на чувстве локальной укорененности<sup>15</sup>). Поэтому категоричность, с которой польский исследователь записывает жителей огромной территории между Балтикой и Карпатами в «тутэйшие», отказывая им в возможности идентифицироваться на уровне локальных политических структур, вызывает сомнения уже на общелогическом уровне. Что же касается отсутствия материально выраженных этнодифференцирующих маркеров, то данное обстоятельство отнюдь не представляется нам достаточным основанием для отрицания наличия этнополитических организмов как таковых. Коль скоро сам П. Урбаньчик допускает ситуацию, когда каждый град мог являться самостоятельным политическим центром, то вопрос, на наш взгляд, должен быть сформулирован несколько иначе — не об отсутствии этнополитических организмов («племен») вообще, а об их реальных масштабах с учетом типологий вождеств, предлагаемых

<sup>12</sup> *Widajewicz J. Państwo Wiślan. Kraków, 1947.*

<sup>13</sup> В качестве примера сошлемся на аканов Центральной Африки, идентичность которых складывалась первоначально только на основании принадлежности к конкретному вождеству (оману). Как отмечает В. А. Попов, «практически все без исключения аканские этнонимы произведены от политонимов и совпадают с названиями политических образований, которые, в свою очередь, в подавляющем большинстве представляют собой топонимы и чаще всего совпадают с названием столицы» (*Попов В. А. Ашантийцы: Этнос, субэтнос или суперэтнос? (К проблеме уровней этнического самосознания) // Историческая этнография. Вып. 3: Малые этнические и этнографические группы. СПб., 2008. С. 168*). Вопрос о том, можно ли называть такую идентичность этнической или нет, когда из источников доподлинно неизвестно, обладали ли ее носители представлением об общем происхождении, в данном случае не так уж и важен.

<sup>14</sup> Описание городов и областей к северу от Дуная, или Баварский Географ // *Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IX–XI веков: Тексты, перевод, комментарий. М., 1993. С. 13–14.*

<sup>15</sup> О «славянском типе этничности» см.: *Pohl W. Conceptions of Ethnicity in Early Medieval Studies // Archaeologia Polona. 1991. Vol. 29. P. 45–46.* — О разнице между германскими и славянскими *gentes* см. также: *Trěštik D. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871. Praha, 2001. S. 10.* — О восточнославянских «племенах» как этнополитических организмах см.: *Горский А. А. Указ. соч. С. 9–14.*

антропологами<sup>16</sup>. В этом плане едва ли можно считать утратившей потенциал старую идею рассматривать в качестве первичного уровня надобщинной интеграции славянского общества небольшую социальную единицу размером с балканскую «жупу» (простое вождество?), сознание принадлежности к которой можно при желании интерпретировать как этническую идентификацию<sup>17</sup>.

Говоря о конкретных этнополитических общностях, едва ли можно согласиться с П. Урбаньчиком в его отрицании существования «племени» вислян. Отмечая, что как таковое имя «висляне» (Vuislane) фигурирует лишь в тексте «Баварского географа», польский исследователь полагает, что все прочие свидетельства источников, относящиеся, согласно традиционному взгляду, к «племени» вислян, в действительности подразумевают лишь предельно обобщенную географическую привязку описываемых в них реалий посредством упоминания реки Вислы, сопоставимую с высказыванием биографа Карла Великого Эйнхарда о подчинении франкским королем всех варваров между Рейном и Вислой. К таким свидетельствам, не имеющим отношения к этнополитическим реалиям раннего Средневековья, П. Урбаньчик относит знаменитый пассаж из Паннонского Жития св. Мефодия, где говорится о сильном князе «в Вислех»<sup>18</sup>, а также упоминание земли «Visleland» в дополнениях короля Уэссекса Альфреда Великого к переведенной им же «Хорографии» Павла Орозия, и известие о «некрещеных поселенцах на реке Висле, именуемых личиками», содержащееся в 33-й главе трактата Константина Багрянородного «Об управлении империей»<sup>19</sup>. Между тем, если пассаж из трактата императора Константина, действительно, ничего не говорит об этнополитической общности вислян, то данные Жития св. Мефодия и короля Альфреда, на наш взгляд, как раз-таки являются ценными свидетельствами ее существования. Определение «в Вислех» в свете характерного славянского употребления этнонимов, часто встречающегося в «Повести временных лет» (ср.: «в Полях», «в Деревлях» и т. п.)<sup>20</sup>, очевидно, следует переводить не в значении «на Висле», подразумевая под этим хороним («земля на Висле»), а в значении «у вислян»<sup>21</sup>, подразумевая под этим именно «племя», то есть этнополитическую общность.

<sup>16</sup> По одной из типологий, предложенных в политической антропологии, так называемое «минимальное вождество» должно включать в себя приблизительно десяток поселений. См.: *Карнейро Р.* Процесс или стадии: Ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства // *Альтернативные пути к цивилизации.* М., 2000. С. 90.

<sup>17</sup> Из новых работ см.: *Плетерский А.* О «the Making of the Slavs» изнутри // *SSBP.* 2008. № 2 (4). С. 33–36. — Подобные архаичные территориальные единицы («земли») с весьма устойчивыми названиями можно, к примеру, обнаружить в бассейне Нижнего Конго. По мнению О. С. Томановской, каждой из них соответствовала группа родственных кланов, выступавшая как самостоятельная социальная единица. См.: *Томановская О. С.* Этнос и этноним в предклассовом обществе: Частные аспекты их соотношения // *Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе.* М., 1982. С. 186–187.

<sup>18</sup> Разные списки дают формы «в Висле» и «в Вислех» (*Флоря Б. Н.* Сказания о начале славянской письменности. 2-е изд. СПб., 2004. С. 312).

<sup>19</sup> *Константин Багрянородный.* Об управлении империей / Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева; Пер. Г. Г. Литаврина. М., 1991. С. 149.

<sup>20</sup> См.: *Хабургаев Г. А.* Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского этногенеза. М., 1979. С. 200–205.

<sup>21</sup> Такой перевод обусловлен правилами древнего славянского склонения существительных на –янин, –енин во множественном числе (см.: *Соболевский А. И.* Труды по истории русского языка. Т. 2: Статьи и рецензии. М., 2006. С. 50–52). Выражаем глубокую благодарность Д. В. Каштанову, указавшему нам на

В случае же с информацией Альфреда Великого необходимо учитывать контекст его упоминания о «Вислалэнде». «Вислалэнд» соседствует в его тексте с Моравией, то есть с вполне реальным политическим организмом, а также с Дакией<sup>22</sup>, под которой в этот период могла также подразумеваться особая политическая единица<sup>23</sup>. К слову сказать, такой же принцип необходимо применить и к информации «Баварского географа»: если верна гипотеза А. В. Назаренко, согласно которой «Баварский географ» был составлен в монастыре Райхенау вскоре после пребывания там в начале 870-х гг. св. Мефодия<sup>24</sup>, а информация, касающаяся ближайших соседей Моравии, племен Силезии и Южной Польши, могла быть целенаправленно собрана в связи с задачами развернувшейся тогда христианской миссии<sup>25</sup>, то в качестве отражения местной этнополитической ситуации она заслуживает как минимум большего доверия.

Наконец, приведем еще одно соображение, позволяющее связывать возникновение более или менее значительной части славянских групповых названий, зафиксированных во второй части «Баварского географа», с реальными процессами этнополитической консолидации на уровне малых и крупных вожеств. В «Баварском географе», как и в других источниках IX в., не удается обнаружить славянские «племенные» этнонимы, которые могли бы быть соотнесены с пространством Паннонии и Потисья, непосредственно входившим в состав Аварского каганата<sup>26</sup>. Представляется логичным объяснять это тем, что, в отличие от Полабья, Чешской котловины и территорий, расположенных к северу и востоку от Карпат, на пространстве, составлявшем в прошлом ядро Аварской державы, в силу позднего появления здесь самостоятельных политий (Посавский и Нитранский дукаты, вожества Потисья и Трансильвании), ко второй половине IX в. просто не успели сложиться общности со стабильными названиями<sup>27</sup>.

Следующую главу «От городища к городу» (S. 107–141) П. Урбанчик начинает с критики линейных эволюционистских концепций, через призму которых боль-

---

это обстоятельство. Перевод П. Урбанчика уже стал предметом критики П. В. Лукина: *Лукин П. В.* Восточнославянские «племена» и их князья: конструирование истории в Древней Руси // Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Материалы конференции. М., 2010. С. 84. Впрочем, В. Л. Васильев усматривает в подобных формах свидетельство «функционального синкретизма» наименований, выражавшегося в «недостаточном языковом различении наименований человеческих коллективов (катойконимов и этнонимов) и топонимических наименований тех мест, на которых эти коллективы проживают» (*Васильев Л. С.* Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород, 2005. С. 290).

<sup>22</sup> ММФН. 1969. Vol. III. P. 338.

<sup>23</sup> См. аргументацию данного тезиса: *Madgearu A.* The Romanians in the Anonymous Gesta Hungarorum. Truth and fiction. Cluj-Napoca, 2005. P. 140–141.

<sup>24</sup> *Назаренко А. В.* Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001. С. 51–70.

<sup>25</sup> Там же. С. 67.

<sup>26</sup> Единственное исключение — это упоминаемые в «Анналах королевства франков» и локализуемые в нижнем течении Тисы так называемые дунайские ободриты, оригинальное название которых («преденеценты»), однако, совершенно нехарактерно для славянской этнонимии. Возможно, именно они фигурируют в «Баварском географе» под именем *Osterabtrezi*, скорее всего, представляющем собой искусственное обозначение, укоренившееся во франкской традиции. Подробно см.: *Bulín H.* Podunajští «Abodriti»: Příspěvek k dějinám podunajských Slovanů v 9. století // *Slovanské historické studie*. Praha, 1960. T. III. S. 5–44.

<sup>27</sup> Подробнее см.: *Алимов Д. Е.* К вопросу об этнополитической ситуации в Верхнем Потисье в IX в.: «Месторазвитие» карпатских русинов и пост-аварское пространство // *Русин*. Кишинев, 2009. № 2 (16). С. 84–95.

шинство археологов второй половины XX в. рассматривали возникновение городов в Центрально-Восточной Европе. Общей их чертой как в Польше, так и в СССР, было подчеркивание глубоких корней средневековых городов: небольшие городища племенной эпохи считались «зародышами» будущих крупных городских центров, в которые они превращались постепенно, в результате демографического роста и развития хозяйственно-экономической сферы жизнедеятельности — аграрного, ремесленного производства и рыночных отношений<sup>28</sup>. В последние десятилетия исследования археологов в Польше, Скандинавии, Восточной Европе показали<sup>29</sup>, что длительности и преемственности в развитии различных центральных мест раннего Средневековья было гораздо меньше. Появление средневековых городов было не столько связано с глубинными экономическими закономерностями, сколько являлось результатом планомерных инициатив политических властей.

Нельзя сказать, что П. Урбаньчик особо оригинален в определении понятия «город» (*miasto*) — он приводит те же признаки, которые в разных комбинациях уже фигурировали ранее в археологических исследованиях. Под городом он понимает постоянную агломерацию, имеющую четко обозначенное правовое положение, определенные границы в пространстве, исполняющую разнообразные центральные функции для окружающей территории и заселенную не крестьянами (S. 130). Особенность подхода П. Урбаньчика состоит в том, что он настаивает на коренном отличии городов государственной эпохи от разнообразных городищ и центральных мест более раннего времени и считает, что предметом исследования

«... не должен быть сам город, как демографически-экономическая агломерация, но скорее политические стратегии инвестирования в социально-политическую инфраструктуру, отраженные в изменяющейся организации центральных мест и их функций — не только в административно-хозяйственной сфере, но и в символически-религиозном измерении» (S. 110).

Не последнее место в критике эволюционистских концепций занимают вопросы хронологии. По вполне понятным причинам П. Урбаньчик отказывается видеть истоки польских городов в знаменитом Бискупине, поселении времен лужицкой культуры, поскольку временной промежуток между его функционированием и первыми раннесредневековыми городищами составляет полтора тысячелетия. Отмечая, что, по данным дендрохронологического метода, в Польше пока не обнаружено ни одного городища с укрепленным валом, датируемого временем ранее IX в., исследователь стремится понять функции тех немногочисленных памятников VI–VII вв., которые не были постоянно заселены и не играли большого военно-стратегического значения. Он принимает выводы Збигнева Кобылинского и Марека Дулиничча относительно таких памятников как Гачки и Шелиги (Подляшье и Мазовия), и при-

<sup>28</sup> В польской науке классическим примером такого подхода является работа Витольда Хенсля: *Hensel W. Archeologia o początkach miast słowiańskich*. Wrocław, 1963. В советской медиевистике элементы эволюционизма присутствовали в марксистских концепциях М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова, А. В. Кузы и других. См.: *Дубов И. В. Возникновение городов на Руси // Он же. Новые источники по истории Древней Руси*. Л., 1990. С. 6–27.

<sup>29</sup> См., например, статьи сборника *Archaeologia Polona*. 1994. Vol. 32: *Origins of Medieval towns in Temperate Europe* / Editor of Volume P. Urbańczyk.



знает, что подобные пункты являлись не оборонительными убежищами, а местами религиозных обрядов (в том числе, погребальных), праздников, общественных пиров и соборщ, символическими центрами округи.

Если мотивы использования таких мест лежали в «символически-религиозной» сфере, то с началом формирования военизированных элит, борьбы за власть и место в складывающейся иерархии связано возведение уже хорошо укрепленных городищ, которые имели «символически-политические», по терминологии П. Урбаньчика, функции. Бурное строительство городищ на территории Польши в IX–X вв. свидетельствует, что в это время здесь происходило соперничество между конкурирующими вождествами — «политическая “мода” требовала для претендующих на верховную власть элит, чтобы они обозначили свой статус наличием города на своей территории» (S. 119). Использование теории вождеств нужно признать наиболее удачным нововведением П. Урбаньчика в исследовании процесса урбанизации. Она позволила не только по-новому взглянуть на причины появления многочисленных городищ-замков (*gród*), возведенных из чувства нескромности, но и глубже проникнуть в сферу политической культуры населения Польши накануне образования раннего государства.

Как подчеркивает П. Урбаньчик, между этими замками и городами государственной эпохи не наблюдается преемственности. Основная масса старых городищ в результате экспансии Пястов во второй половине X – первой половине XI в. сгорает или забрасывается населением, а им на смену приходят новые военно-административные пункты, возведенные в рамках государственной строительной программы. В ходе консолидации государства эти поселения становятся центрами административно-фискальной инфраструктуры, но лишь на последнем этапе, когда здесь начинает доминировать сфера рыночной экономики, можно говорить о городах в чистом виде — этот этап наступает к XII–XIII вв.

Таким образом, П. Урбаньчиком была разработана периодизация ключевых черт развития центральных мест с VIII по XIII в. Интерпретационные рамки, заданные польским исследователем, актуальны при изучении процесса градообразования и в соседней Восточной Европе, о чем свидетельствуют высокая оценка предложенной схемы белорусским археологом Г. Семянчуком<sup>30</sup>. В последние десятилетия в российской медиевистике активно обсуждалась проблема «переноса» городов, и теперь можно уверенно сказать, что это явление характерно для эпохи складывания государства не только на Руси. В споре об истоках древнерусских городов, по-видимому, необходимо также признать «роль конкретных актов воли, лежащих у начал раннесредневековых агломераций» (S. 134), которые польский исследователь видит основным импульсом развития торгово-ремесленных поселений вокруг центра власти.

П. Урбаньчик не возвращается в данной главе к вопросу о роли культовых центров и городищ в становлении первоначальной надлокальной идентичности — ранее он отметил, что «невозможно ни идентифицировать сообщества, которые построили и использовали такие “культовые центры”, ни установить роль, которую эти объекты играли в создании и поддержке общей идентификации окружающего населения, ни обозначить их территориальный охват» (S. 93). Между тем, исходя из предложенной

---

<sup>30</sup> Семянчук Г. Генезіс беларускіх гарадоў у раннім сярэднявеччы (IX–XIII стст.) // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі. Гродна, 2009. С. 10–23.



исследователем реконструкции социальных отношений внутри формирующихся вождеств, идея об особой роли укрепленных городищ в конструировании этнополитических групп отнюдь не выглядит абсурдной. Если предположить, что некоторые славянские догосударственные «этнонимы» были прочно связаны, прежде всего, с формирующимися элитами вождеств, а элиты — с центральными местами сборов, которые поддерживали социальную структуру (например, становились местом пиров, ритуалов и торжественного перераспределения богатств), то, в этом случае, хотя бы теоретически можно допустить существование групповых идентичностей, сложившихся в результате функционирования таких центров. Правда, среди славянских групповых обозначений догосударственной эпохи, фигурирующих в дошедших до нас источниках, таких названий мы почти не находим. Исключением являются, по-видимому, редари, имя которых, согласно гипотезе А. В. Назаренко, происходит от названия культового центра Ретры, а согласно гипотезе Т. Шлимперта и Т. Витковского означает «люди, состоящие в связи с оракулом Радогоста»<sup>31</sup>. В Баварском географе фигурирует групповое название *Velunzani*, которое предположительно может быть связано с городом Волином. Таким образом, полабско-поморский материал дает (хотя и весьма шаткие) примеры того, что название городища или культового центра все же могло стать источником группового наименования.

Ряд штрихов к картине раннесредневекового вождества «изнутри» добавляет глава «От магии к рынку» (S. 142–175), центральный вопрос которой — о мотивах сокрытия монетных кладов и о модели раннесредневековой экономики — снова решается с помощью культурно-антропологических реконструкций. П. Урбанчик критикует рыночную модель функционирования экономики в «эпоху викингов», отталкиваясь от следующей мысли: если в век Интернета значительная часть живущих людей применяет полумагические практики, то что можно ожидать от человека с совершенно ненаучной картиной мира, жившего в мире русалок и леших? В решении проблемы интерпретации кладов польский ученый опирается на данные скандинавских саг, теорию символического капитала и символического обмена, и утверждает, что монетные клады были не только и не столько зарытой на время денежной «казной», сколько аккумуляторами мистической силы или же вотивными подношениями верховному божеству<sup>32</sup>.

Подчеркнем: выступая критиком «рыночных» концепций монетного обращения, П. Урбанчик стремится избегать односторонних интерпретаций и отмечает, что предложенный взгляд лишь призван расширить эвристические возможности исследования. В целом, идея поиска символического содержания в «транзакциях» серебра представляется достаточно убедительной. Данный раздел будет интересен не только специалистам-нумизматам, но и историку, стремящемуся понять модель поведения, свойственную раннесредневековому социуму. Дар металлической «ино-

<sup>31</sup> Назаренко А. В. О славянском язычестве // Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне. М., 2009. С. 309–310. Примеч. 36.

<sup>32</sup> «Символическое» направление в интерпретации восточноевропейских металлических кладов в раннее Средневековье представляет также Ф. Курта (*Курта Ф.* Археология идентичностей в Восточной Европе (VI – первая половина VII в.) // SSBP. 2008. № 2. С. 133–154).

земной диковинки» с таинственными знаками действительно, как предполагает польский исследователь, мог иметь особое значение в выстраивании личных связей внутри вождества между лидером и его сторонниками. Также, весьма оригинальным выглядит объяснение находок множества резаных и ломаных дирхемов — это, как предполагает П. Урбанчик, практика ритуальной порчи, или «убивания» монеты, направленная на то, чтобы ее магической силой не мог воспользоваться никто другой (S. 166).

Символическое значение монет очевидно уже из того, что начало собственной чеканки в Польше и на Руси определялось не экономическими потребностями, а было пропагандистской акцией, возвестившей остальным владыкам христианского мира о появлении в Гнезно и Киеве равных им могущественных правителей. Неясной после прочтения главы остается лишь причина резкого противопоставления магического ритуально-символического обмена рыночной торговле. Понимая под рынком «всеобщее участие членов данного социума в экономике с систематизированными основаниями обмена, регулируемого отношением к объективному эквиваленту в качестве какого-либо платежного средства» (S. 151), П. Урбанчик относит начало функционирования рыночной экономики к XII–XIII вв., когда на смену централизованной монархии приходит аристократическая. Представляется, однако, что сама идея осуществления символического обмена не противоречит наличию неустойчивой, но уже существующей системы платежных средств, мер и весов, ведь, как известно, сельские жители и позже сохраняли модель натуральной экономики, пользуясь деньгами лишь при осуществлении внешнего обмена.

Следующая глава книги П. Урбанчика, озаглавленная «От Пяста до Мешко» (S. 176–191), являет собой блестящий пример того, какую большую пользу может принести историку-медиевисту умелое использование при анализе письменных источников данных современной антропологической теории. Объектом исследовательского анализа в данном случае стало известное предание о Попеле и Пясте в том виде, в каком оно запечатлено в Хронике Галла Анонима. Надо сказать, что династическое предание Пястов, изложенное в данной Хронике, многократно анализировалось в польской медиевистике, а несколько десятилетий назад стало темой блестящей монографии Яцека Банашкевича, который привлек к анализу предания широкий сравнительно-исторический материал, позволивший ввести польскую легенду в контекст древнейших индоевропейских представлений о генезисе верховной власти<sup>33</sup>. Полемизируя с Я. Банашкевичем, подход которого к легенде не позволял видеть в ней сколько-нибудь достоверное отражение исторических реалий эпохи становления польской государственности, П. Урбанчик подчеркивает, что, будучи освобожденной от позднейших вкраплений литературного характера, фабула легенды прекрасно соотносится с тем, что известно о социальных порядках догосударственных обществ по данным антропологии.

Так, сюжет об отстранении от власти рода Попеля, отказавшегося, согласно преданию, оказать достойный прием прибывшим издалека гостям, и приходе на его место рода гостеприимного пахаря Пяста, как оказалось, полностью соответствует

---

<sup>33</sup> *Banaszkiewicz J.* Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. Warszawa, 1986.

характерной для вождей ситуации, когда важнейшую роль в поддержании власти социального лидера играли организуемые им общественные угощения, а неспособность вождя или бигмена удовлетворить потребности соплеменников могла стать реальной причиной потери им соответствующего статуса и прихода на его место его более удачливого конкурента. К слову сказать, соотношение описываемых в польском предании пиров, организованных Попелем и Пястом, с институтом потлача не так давно убедительно осуществил также российский исследователь А. С. Щавелев<sup>34</sup>. Как мы видим, независимо от данной работы польский ученый пришел к схожим выводам, что лишний раз подтверждает перспективность антропологического подхода к анализу польского династического предания.

Как справедливо подчеркивает П. Урбаньчик, сама смена правящих родов, приведшая к власти Пяста, основателя династии, правившей впоследствии в Польском королевстве в течение нескольких веков, в том виде, в каком она вырисовывается из фабулы изложенного Галлом Анонимом предания, всецело отвечает порядкам, характерным для вождей, и никоим образом не представляет собой какого-либо социального перелома. Нововведения, обозначившие переход к ранней государственности, польский исследователь усматривает в описываемых далее в династическом предании деяниях сына Пяста Семовита. Как показывает П. Урбаньчик, предпринятые Семовитом акции, такие как расширение подвластной территории и подразумеваемое этим дополнение существовавшего прежде механизма реди-стрибуции насильственным изъятием прибавочного продукта у соседей, также вполне укладываются в разработанную антропологами на основании широкого сравнительно-исторического материала модель становления ранней государственности. Таким образом, предпринятый П. Урбаньчиком анализ польского династического предания все-таки позволил обнаружить в нем историческое зерно, восходящее к эпохе, на несколько столетий отстоящей от того времени, в какое создавал свой труд Аноним.

Каковы были границы молодой державы Пястов в правление Мешко? Этим вопросом нередко задавались исследователи, ставившие перед собой задачу выяснить, когда и при каких обстоятельствах произошло подчинение Пястам той или иной территории. Не оставляет в стороне этот вопрос и П. Урбаньчик, однако, верный принципу методологической рефлексии, он концентрирует внимание на самой проблеме границ и приграничных зон в раннее Средневековье. Проблема эта рассматривается в главе под названием «Силезия в государстве ранних Пястов» (S. 192–215), так как Силезия, ситуация в которой была относительно хорошо освещена в источниках, была избрана автором в качестве наиболее показательного примера. Исследователь начинает разговор с ряда вводных замечаний, в которых указывает на то, что применительно к раннему Средневековью приходится говорить не столько о границах, так как линейных границ как таковых тогда не существовало, сколько о пограничных зонах. В связи с этим, напоминает П. Урбаньчик, необходимо проявлять осторожность в обращении с картами раннесредневековой Европы, которые рисовали и продолжают рисовать современные историки. Казалось бы, подобные предостережения ныне уже мало кого могут удивить. Вместе с тем, в книге

<sup>34</sup> Щавелев А. С. Славянские легенды о первых князьях: Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М., 2007. С. 136–137.

П. Урбаньчика они совсем не кажутся излишними, так как, в конечном счете, именно из них вытекает понимание автором ранней истории Силезии, сильно отличающееся от того, которое присутствует в современной историографии.

Едва ли можно не согласиться с констатацией автора, что, несмотря на то, что результаты археологических раскопок явственно обнаруживают существование связей силезского региона с Великой Моравией, сами по себе археологические артефакты не в состоянии подтвердить известное лишь из поздних источников наличие в Силезии во второй половине IX в. моравского политического контроля. В сущности, похожая ситуация, как явствует из дальнейшего изложения материала, наблюдается и в отношении проблемы характера политического контроля над Силезией со стороны чешских Пржемысловичей или Славниковичей. В то время как письменные источники (Хильдесхаймские анналы, Титмар Мерзбургский, Козьма Пражский) содержат отрывочные и порой не поддающиеся однозначной интерпретации известия, археологические свидетельства, привлекаемые исследователями в обоснование принадлежности Силезии державе Пржемысловичей (отдельные фрагменты дороманской архитектуры из Вроцлава и отдельные христианские погребения), даже если абстрагироваться от проблемы их точной датировки, являются лишь показателями поликультурности пограничной зоны.

Сомнительным представляется П. Урбаньчику и делаемый в историографии на основании Пражской грамоты 1086 года вывод о том, что Силезия до присоединения ее к державе Пястов входила в церковную юрисдикцию Пражского епископства. Критикуя распространенный взгляд, согласно которому этот документ отражает реалии второй половины X в., П. Урбаньчик ссылается на содержание грамот Оттона I (971 г.) и Оттона III (995 г.), первая из которых расширяла юрисдикцию Майсенского епископства на землю силезских дзядошан, а вторая предоставляла церковному попечению Майсена всю территорию «до истока Одры». По мнению исследователя, в предшествующий составлению этих документов период Силезия ни под чью церковную юрисдикцию просто не подпадала. Таким образом, не только «моравский», но и «чешский этап» в истории Силезии, не подкрепленный в должной мере информацией источников, предстает своего рода историографическим фантомом.

Далее П. Урбаньчик показывает, что даже с таким общеизвестным фактом как подчинение Силезии Пястам все обстоит не так просто. Исследователь не разделяет общей уверенности историков и археологов в том, что в конце X в. Силезия вошла в состав державы Пястов, причем вне зависимости от того, датируется ли это событие на основании письменных источников 990 годом, или на основании дендрохронологии деревянных конструкций вроцлавского вала — 985 годом. Исследователь задается резонным вопросом: если в это время чехи, действительно, утратили Силезию, то почему столь значительная территориальная утрата не получила адекватного отражения в чешской хроникальной традиции? Если же принимать традиционную точку зрения о церковном подчинении Силезии Праге, то почему со стороны местного епископа и стоявшего над ним архиепископа Майнца, диоцезы которых столь серьезно пострадали в результате территориального передела, не было апелляций к папе?

Задавая подобные, «неудобные» для традиционной парадигмы силезской истории, вопросы, П. Урбаньчик ничуть не абстрагируется от дискуссий, ведущихся в современной историографии. Напротив, автор тщательно регистрирует все высказывае-

мые исследователями гипотезы, касающиеся дипломатических взаимоотношений Пржемысловичей, Славниковичей, Пястов и Людольфингов, показывая при этом, что ни одна из них не в состоянии разрешить встающих перед историком проблем. Более того, задаваясь вопросом, почему имя первого вроцлавского епископа Иоанна не отразилось в позднейшей традиции вроцлавской кафедры, исследователь обращает внимание на то, что все догадки, которые могут быть высказаны по этому поводу, демонстрируют, что даже такой, казалось бы, очевидный факт, как господство в Силезии Болеслава Храброго, порождает массу вопросов в том, что касается его территориального охвата и продолжительности. Все это, по мнению П. Урбаньчика, позволяет усомниться в правомерности традиционной парадигмы ранней силезской истории, основанной, по словам автора, «на “перебрасывании” этого региона от одного государства к другому без учета проблем, проистекающих из имманентной геополитической нестабильности раннего Средневековья, а также из самой географии» (S. 215).

Альтернативная концепция геополитического положения раннесредневековой Силезии, предлагаемая П. Урбаньчиком, подразумевает отнесение этой территории к числу так называемых даннических зон, которых, как справедливо замечает автор, в раннесредневековой Центральной Европе было немало. В связи с этим исследователь подчеркивает, что хотя в X в. Силезия была объектом политических устремлений своих могущественных соседей, в течение длительного времени ни одно из претендовавших на эту территорию государств

«... не имело над конкурентами превосходства, достаточного для прочной инкорпорации спорного пространства. В плане логистики и администрации ни одно из них также не было способно установить там эффективный военно-политический контроль. Тем более, что в Силезии определенно не было недостатка в локальных претендентах, которые пытались “выкроить” свои династические домены, пользуясь нестабильной геополитической ситуацией» (S. 212).

Свою критику того, что можно было бы назвать модернизаторским подходом к истории раннего Средневековья (а при желании — просто недостаточной чуткостью историка к изучаемой им эпохе), П. Урбаньчик продолжает и в следующей главе своего исследования, носящей название «Первые столицы Пястов» (S. 216–233). Уже само название главы, где слово «столицы» употреблено во множественном числе, отражает несогласие П. Урбаньчика с распространенным взглядом, согласно которому в рассматриваемый автором период в Польше была одна столица, на роль которой в исторических работах обычно претендуют Гнезно или Познань. Свою позицию польский исследователь разъясняет уже в самом начале главы: наличие столицы, как и границ, принадлежит к атрибутам современных государств, а потому поиск столицы в эпоху раннего Средневековья по сути антиисторичен. Все, что далее пишет П. Урбаньчик о необходимости для раннесредневекового правителя периодически перемещаться по стране, о неразвитости инфраструктуры и эластичности экономики, делавшими невозможным сосредоточение властных функций в одном месте, едва ли может вызвать хотя бы малейшее несогласие. Справедливой представляется и сделанная автором отсылка к другим европейским государствам раннего Средневековья, где, за редкими, весьма специфическими по своей природе, исключениями вроде Византии или Аль-Андалуса, единой столицы как таковой не существовало.



Казалось бы, занятая исследователем позиция, отвергающая самую концепцию главного города применительно к раннесредневековым государствам, позволяет обойти спор о «первой столице» Польши. Однако, автор счел необходимым подробно остановиться на каждом из выдвигаемых аргументов, стремясь показать, что ничто из того, что привлекалось в ходе этой дискуссии в обоснование столичного статуса того или иного центра, в действительности, не может рассматриваться в качестве показателя столичности. Особенно ценными наблюдениями, на наш взгляд, наполнена полемика П. Урбаньчика со сторонниками столичного статуса Гнезно, видное место среди которых занимает выдающийся польский медиевист Герард Лябуда. Так, несомненный интерес представляет предложенная П. Урбаньчиком интерпретация выражения «*civitas Schinesghe*» из документа «*Dagome iudex*». В соответствии с оригинальной авторской концепцией (излагаемой П. Урбаньчиком в последней главе книги), согласно которой до появления около 1000 г. названия *Polonia*, держава Пястов не имела стабильного названия, признаваемого за ее границами, определение «*civitas Schinesghe*», по словам исследователя, могло быть «единичной попыткой найти какое-либо обозначение для государства, находившегося на территории распознававшейся в то время лишь как целое *Склавинии*» (S. 224).

Заслуживает внимание и вывод исследователя, касающийся монет с надписью *GNEZDUN CIVITAS*, нередко рассматривавшихся в историографии как доказательство столичного статуса Гнезно. Как показывает П. Урбаньчик, подобная интерпретация в свете европейских, в том числе весьма показательных чешских, аналогий представляется совершенно неоправданной: надпись на монете показывает только место ее чеканки. Что же касается такого классического аргумента, как основание в Гнезно митрополии, то П. Урбаньчик отводит его тем, что связывает учреждение здесь архиепископской кафедры исключительно с нахождением в Гнезно мощей св. Войцеха, напоминая, что архиепископ Гауденций носил титул «*archiepiscopus sancti Adalberti martyris*».

При всем этом П. Урбаньчик не оспаривает, а, напротив, всячески подчеркивает важное символическое значение Гнезно для складывающейся державы Пястов. По мнению исследователя, такое значение это поселение имело еще в языческую эпоху, когда функционировало святилище на горе Леха, а захоронение именно в Гнезно мощей св. Войцеха могло быть связано со стремлением власти перекрыть место языческого культа новым, уже христианским, религиозным центром. Заметим, что хотя П. Урбаньчик проводит четкое и, думается, вполне справедливое различие между тем, что можно именовать центром, обладавшим в раннесредневековом государстве символическим значением (исследователь приводит пример франкского Аахена), и тем, что является столицей в собственном смысле слова, само по себе признание особой символической роли Гнезно способно привести исследователей к некоему компромиссу, сведя дискуссию о «столице» державы Пястов исключительно к спору о терминах.

Полагая, что разговор о польских столицах несправедливо сводить лишь к Гнезно и Познани, П. Урбаньчик далее дает обзор того, что позволяет говорить о столичных функциях Острува Ледницкого и Геча. В первую очередь, речь, конечно, идет об открытых археологическими раскопками грандиозных архитектурных комплексах, воздвигнутых в обоих центрах в правление первых Пястов. П. Урбаньчик



справедливо отмечает, что столь значимые инвестиции в строительство в этих двух центрах позволяют считать их такими же «столицами» (во множественном числе!) державы Пястов, какими являлись Познань и Гнезно. Подводя итог своему разбору атрибутов столичности четырех важнейших центров державы Пястов, П. Урбаньчик заключает, что ни один из них

«...нельзя однозначно назвать “столицей” — во всяком случае, в современном значении этого термина. Ибо ни в одном из них не было постоянного сосредоточения важнейших центральных функций. Как раз наоборот, кажется, что Мешко I и его сын совершенно сознательно создали своего рода рассредоточенный центр своего государства, в котором находились одноуровневые ядра, организованные по единой модели: возвышающийся над водой мощный град с каменным храмом и каменным дворцом» (S. 230).

Начиная самую обширную главу своего исследования, посвященную Гнезненскому съезду 1000 года (S. 234–316), П. Урбаньчик с сожалением отмечает, что, несмотря на большое количество вышедших публикаций, тысячелетний юбилей не стал причиной появления кардинально новых оценок и интерпретаций этого события. Высоко оценивая исследование Романа Михаловского<sup>35</sup> и всецело соглашаясь с ним в том, что в анализе политической культуры этой эпохи невозможно отделять церковные мотивы политики от светских, исследователь высказывается против преувеличенного внимания к сфере мистических переживаний. Действия Оттона III представляются П. Урбаньчику гораздо более прагматическими и направленными на усиление собственной власти. Ни паломничество к мощам, ни коронация Болеслава, ни учреждение Гнезненской митрополии не кажутся автору убедительными объяснениями цели долгого путешествия императора на север. Чтобы понять, что побудило Оттона его совершить, П. Урбаньчик обращается к самым истокам концепции внешней политики молодого правителя.

Как полагает исследователь, тяжелое детство, проведенное под контролем властных женщин (после смерти матери Феофано в 991 г. регенство переняла бабка императора Аделаида), могло быть причиной того, что Оттон легко подвергся влиянию сильных личностей, какими были пражский епископ Войцех-Адальберт или князь Болеслав Храбрый. От матери Оттон III перенял «имперскую идеологию» (S. 251) и стремился вести себя, как подобает настоящему *caput mundi*. Хотя по поводу политики *Renovatio Imperii Romanorum* П. Урбаньчик присоединился к критическому направлению в немецкой историографии и отрицает наличие четкой программы по возрождению Римского государства, он, в то же время, признает, что элементы этой политики существовали как пропагандистский ответ мощи византийского императора.

Именно в контексте соперничества с восточным соседом необходимо, по мнению П. Урбаньчика, рассматривать Гнезненский съезд. Его главной целью польский исследователь считает усиление самого Оттона III, а не Болеслава Храброго. Император стремился выстроить политическую ось «Рим — Аахен», которая должна была укрепить воображаемое сообщество Италии, Германии, Галлии и *Склавинии*, а для этого задумал перенесение мощей св. Адальберта из Гнезно в Рим или Аахен, что дало бы ему дополнительные очки в легитимации своего статуса, как главы

<sup>35</sup> Michalowski R. Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Wrocław, 2005.

христианского мира. Именно этим П. Урбаньчик объясняет тот титул, под которым фигурирует первый гнезненский архиепископ Радим-Гауденций, брат мученика, — *archiepiscopus sancti martyris Adalberti*.

По словам П. Урбаньчика, встреча в Гнезно была элементом старательно спланированной пропагандистской акции (S. 241), хотя, как тут же добавляет исследователь, как ее ни планировали, все равно получилась импровизация, итоги которой Болеславу пришлось расхлебывать десятилетиями. Отгон проехал через все свои владения, чтобы забрать тело мученика Адальберта, но, столкнувшись с упорством Болеслава, смог увезти в Италию лишь руку святого, а его родному брату Радиму, уже в Риме посвященному в качестве хранителя мощей, пришлось остаться в Польше. Отгон остался разочарован тем, что ему не удалось вывезти тело св. Адальберта, а у Болеслава возник конфликт с Радимом-Гауденцием и трения с немецким клиром, который скептически оценил каноничность произведенных в Гнезно реформ.

Нужно признать весьма интересной попытку П. Урбаньчика увидеть то, что скрывается за фасадом сообщений о внешне величественном действе поклонения императора мученику, взаимном обмене дарами и учреждении польской архиепископии. Трудно не согласиться с утверждением П. Урбаньчика о том, что неверно представлять Оттона III чуждым всякой прагматике мистиком. Поиск политического подтекста в церковных решениях, конечно, оправдан. Но и здесь, как представляется, можно зайти слишком далеко. Оттон в исследовании предстает исключительно коварным правителем: направив св. Адальберта на фронт борьбы с агрессивным язычеством, император выслал его на верную смерть к лютичам. Болеслав Храбрый, изменив решение, отправил его к более спокойным пруссам, но это не спасло миссионера. Император получил, наконец, мученика, какого хотел, и задумал грандиозную пропагандистскую акцию, но на этом не успокоился. Он же ускорил отправление из Рима двух бенедиктинцев в Польшу, и Бруно Кверфуртского в опасную Венгрию, хотя их смерти уже не успел дожидаться.

Эта, наиболее спорная, часть рассуждений Урбаньчика, по существу, отвергает возможность личной заинтересованности императора в удачном исходе миссий — ему, напротив, необходимо было как можно больше святых мучеников. Представляется, однако, что Оттона III волновало укрепление церковной организации у верного союзника Болеслава, который являлся опорой его влияния на периферии. Можно спорить, насколько активной была личная роль Оттона в миссионерской деятельности, осуществляемой в Центрально-Восточной Европе св. Адальбертом, свв. братьями-мучениками, или его капелланом св. Бруно. Но, коль скоро эти люди вышли из окружения императора, а св. Войцех был одной из тех «сильных личностей», оказавших влияние на Оттона III, то неужели можно отрицать наличие у последнего симпатий к идее миссии среди язычников?

В последней главе книги П. Урбаньчика, носящей название «А это, собственно, Польша!» (S. 317–360) излагается новый и весьма неожиданный взгляд на время и обстоятельства возникновения названия державы Пястов. Как уже отмечалось, ранее в своей книге П. Урбаньчик высказался против распространенной идеи о существовании «племени» полян, не упоминаемого ни в одном из источников IX–X вв. Известие о польских полянах, содержащееся в «Повести временных лет», П. Урбаньчик счел плодом книжного конструирования и осмысления позднейших

этнополитических реалий, подобного тому, что, по мнению А. П. Толочко, имело место в случае с полянами киевскими<sup>36</sup>. Однако, необходимость новой глубокой рефлексии по поводу происхождения национального имени поляков вызвана не только этим. Важным мотивом стало появление оригинальной гипотезы немецкого историка Иоганна Фрида, согласно которому Польша получила свое название из уст Оттона III на Гнезненском съезде.

П. Урбаньчик подверг гипотезу И. Фрида тщательной проверке, кропотливо собрав все наиболее ранние упоминания земли *Polania*, *Polenia* или *Polonia*, а также народа *Polani* в источниках, и нанес на карту места их составления вместе с датами. География первоначального распространения названий охватила Рим, аббатство Райхенау, Регенсбург, Мерзебург, Кведлинбург, Хильдесхайм, а также Польшу и Венгрию. Из сопоставления хронологии употребления этих названий стало понятно, что гипотеза о непосредственной связи путешествия Оттона III с распространением названия *Polonia* не выглядит убедительной, поскольку в момент Гнезненского съезда на пути следования императора использовался термин *Sclavia* или *Sclavonia*.

Здесь автор замечает, что мог бы прекратить свое повествование, чтобы не сходить с прочной почвы того, что позволили установить доступные источники, но, к счастью для читателя, желание ответить на волнующие не только самого П. Урбаньчика вопросы не дают ему остановиться на полуслове. Констатируя, что первым, кто записал новое название, был автор Жития св. Войцеха-Адальберта Иоанн Канапарий, П. Урбаньчик в то же время не сомневается, что название содержит славянский корень, связанный со словом «поле». В трактовке возникновения этнонима польский исследователь присоединяется к мнению Христиана Любке о книжном происхождении оппозиции «лютичи — поляне»: название «лютичи» закрепилось за обитателями территории к западу от Одры, которые считались дикими и жестокими, а полянами назывались обитатели «цивилизованного», христианизированного пространства к востоку от Одры. Кроме того, исследователь подчеркивает, что в появлении такого названия мог сыграть свою роль ландшафт Великой Польши, который сильно изменился под действием процесса образования государства: грандиозная строительная программа требовала исключительно много леса, и, в связи с этим, прилегающая к городам территория покрылась открытыми пространствами. Иными словами, не было никаких «полян» — были только поля. Оппозицию «лютичи — поляне» перенес в Италию польский информатор Иоанна Канапария, благодаря которому в Житии появилась и древнейшая форма названия Гданьска. Теперь латинским писателям стало гораздо удобнее ориентироваться в густоте славянского мира.

Но для того, чтобы Болеслав Храбрый смог выбить на своих монетах титул *PRINCEPS POLONIE* (это древнейшее свидетельство использования термина на его «родине»), кто-то должен был доставить его из Италии в Польшу, и убедить Болеслава пользоваться именно им. На роль этого человека, по мнению П. Урбаньчика, подходит лишь св. Бруно-Бонифаций Кверфуртский — автор второго варианта

<sup>36</sup> *Tolochko O. P. The Primary Chronicle's «Ethnography» Revisited: Slavs and Varangians in the Middle Dnieper Region and the Origin of the Rus' State // Franks, Northmen, and Slavs. Identities and State Formation in Early Medieval Europe / Ed. by I. H. Garipzanov, P. J. Geary, P. Urbańczyk. Turnhout, 2008. P. 169–188.*

Жития св. Войцеха, написанного на основе первого. Из сопоставления карты его путешествий, а также анализа произведений, в которых Бруно пользуется новым названием (в том числе, ретроспективно), следует вывод, что именно он распространил и популяризовал термин *Polania*. В том, что в Польше закрепилась другая форма названия — *Polonia*, исследователь видит подтверждение отсутствия глубокой «племенной» традиции его использования.

Оценивая предложенную концепцию, отметим, что кажется абсолютно убедительным вывод о том, что именно Гнезненский съезд и последовавшие за ним новый прилив грамотных людей и активизация дипломатических отношений с Империей привели к закреплению за Польшей ее латинского имени *Polonia*. Именно культ св. Войцеха, благодаря литературным трудам Иоанна Канапария и Бруно Кверфуртского, был причиной того, что весь латинский мир узнал о стране, хранимой столь прославленным мучеником. Вместе с тем, едва ли можно отрицать, что на основании отрывочных данных источников мы не в состоянии ни ответить на вопрос, какой именно смысл вкладывался в термин «поляне» в эпоху, предшествовавшую Гнезненскому съезду, ни установить истинный характер этого группового названия и масштабы его распространения. Другое дело, что благодаря скрупулезному анализу П. Урбаньчика идею считать его названием какой бы то ни было этнополитической общности можно считать основательно поколебленной.

Подводя итог нашему обзору монографии П. Урбаньчика, отметим, что значение книги польского исследователя выходит далеко за пределы собственно польской проблематики. Вооружившись методологией, призванной максимально устранить из исторических исследований шум современной эпохи и вырваться из замкнутого круга, в котором предположения взаимно подкрепляются предположениями, П. Урбаньчик направил острие своей критики в сторону историков и археологов, которые продолжают работать по инерции, не задаваясь вопросом об исходных основах своих знаний о прошлом. Остается лишь выразить надежду, что эта критика будет услышана.

*Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию, Мероприятие 1 аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научно-исследовательского потенциала высшей школы 2006–2009 годы», тематический план НИР СПбГУ, тема 7. 1. 08 «Исследование закономерностей генезиса, эволюции, дискурсивных и политических практик в полинациональных общностях».*